

Джуна: «Я счастлива оттого, что мне некогда плакать»

Ком. правда. — 1992. — 12 июня

ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО июля, под вечер, в тот час, когда заходит Солнце и восходит Луна, кубанская казачка Татьяна с глазами черного бархата, с трудом взгромоздилась на стул, с него на стол для того, чтобы повесить стиранные занавески. Была она, что называется, на сносках, но рожать под потолком не собиралась, даст Бог — дня через два-три. Но только она подняла руки и привстала на цыпочках, ребенок устремился из чрева, выскочил вместе с пуповиной, детским местом, в потоках воды и крови ударился об стол, потом об пол, и... Татьяна потеряла сознание.

Так родилась Джуна.

Мы сидим в ее гостиной, до потолка увешанной написанными ею картинами, подаренными ей за исцеление иконами, стеллажами с наградами — взгляды работы до утра, но я неотрывно смотрю на ее легендарные руки, тонкие, смуглые, усталые, на ее лицо — скуластое, меняющееся за считанные секунды от багрового в ярости до белого, как облако, — улыбающегося. Самое удивительное в лице Джуны это счастье, которым оно иногда вспыхивает. Счастье такое обвальное, такое сияющее, совсем совсем детское...

— Джуна, а откуда, если не секрет, у вас этот шрам? — касаюсь я пальцем своей переносицы.

— И этот... — улыбнувшись, она поднимает смольные волосы со лба, и сквозь смуглоту я различаю спрощенные когда-то лоскуты кожи, их много, они сплось. — И этот... — Джуна выворачивает один угол рта, другой, я вижу белые шрамы изнутри щек и понимаю, что это ей разрывали рот. — И этот... — Она обнажает кожу левой ключицы, там страшно огромный рубец. — Это от топора, — она поправляет ворот кофточки, — а лицо и рот... Я вцепилась в решетку, а пятеро пытались меня от нее оторвать. Не получалось — они меня об решетку головой...

— За что? Когда?

— Лет пятнадцать назад, еще в Тбилиси. За экстрасенсорик.

Красиво обитая дверь на третьем этаже обычного старого дома. Дверь бронированная, с глазком. Открывает, как правило, крепкий молодой вежливый человек. В квартире этой трехкомнатной живут двое — Джуна и ее шестнадцатилетний сын Вахо, но меньше семи-восьми гостей, родственников и посетителей я здесь ни разу не застал.

Хозяйка обычно засыпает на рассвете. Ночь отфильтровывает гостей и болящих, и остаются друзья, но они не мешают ей писать картины, прозу, стихи.

— Джуна, вы — ночной человек?

— Я раньше думала: Господи, ну для чего ты создал ночь? Был бы день да день, как хорошо. А потом поняла: ночь дана для того, чтобы думать — правильно ли ты этот день прожил и как прожить завтрашний.

Три, а может, четыре часа мы сидим в креслах и разговариваем. Кто-то приносит чай, бутерброды. Колокольчик входной двери заливается каждые пятнадцать — двадцать минут, слышны голоса в прихожей, на кухне, трубка-телефон тирлинькает каждые десять — пятнадцать минут, но львиную долю стремящихся сюда берут на себя какие-то другие люди, имеющие, видимо, на это право, сюда же заглядывают в случаях исключительных, я чувствую это, но целиком отношу на счет «Комсомолки», которая единственная, по словам Джуны, поддерживала ее в самые черные дни.

Я выйду из этого дома глубокой ночью, ошалевший настолько, что выломанные с корнем зеркала и антенну на своей машине замечу только в другом конце города. Но я ни капельки не расстроюсь, потому что по уши буду полон интереснейшим «материалом» и два следующих дня буду писать о ней статью. А на третий приеду к ней опять, чтобы ее сфотографировать и, просидев у нее еще полночи, пойму, что статья моя не получилась.

Я встречу у нее дочь одного из самых популярных людей мира; английского телепродюсера, племянника загадочно погибшего газетного магната Максвелла; писателя и ее старинного друга; бывшего офицера спецназа, затем — ее телохранителя, ученика, а ныне — целителя с именем; барда-журналиста, попавшего сюда впервые.

— Джуна, кто ваш самый близкий друг?

Она отвечает не сразу, думает, медлит: — Друзей много, друга нет.

Глупый, конечно, вопрос. Друзья — люди, подобные нам или нас дополняющие. Она — уникум. Настоящих, близких друзей у нее быть не может. В принципе. В этом смысле она обречена на одиночество, не эта ли самая



тяжкая ноша на ее плечах?..

— Вы счастливы?

— Я счастлива оттого, что мне некогда плакать. А так иногда хочется...

Сегодня ее уже не надо утверждать. Сегодня к ней можно только причаститься. За долгие годы борьбы, унижений и побед Джуна пробила ту совершенно непробиваемую стену, которая по толщине оказалась почище любой Великой Китайской, — перечисление наград, титулов, званий, данных ей миром, заняло бы половину этой статьи. Все ее раны телесные, множественные на тысячу, в тьмичной доле не смогут быть эквивалентом тех мук, которые ей приходилось испытывать, когда она по районным поликлиникам, по квартирам утверждала свое могущество. А ведь были уже и Брежнев, и все его домоладцы, и Суслев, и Епишев, и Кирилленко, и Громыко, и Зимянин, и все их домоладцы, и даже весь персонал десятилетия ее ненаглядного Вахо, и много-много других людей, нужных ей и ее сыну, — она никому тогда не отказывала и работала так, словно завтра — Судный день, приходя в отчаяние от каждой разгромной статьи.

И были еще тысячи тех, которые ничего не могли для нее сделать, но которым была нужна только она.

Жила у знакомых, часто без копейки денег, и, когда смертельно заболел ее сын, ей негде было взять бюллетень, некому было объяснить, что у нее самой несчастье — большие черные лимузины не любили ждать и

не оставляли маленькому Вахо шансов на жизнь.

Она спасала людей, владеющих миром, но не догадывающихся дать ей не только жилье и хоть какие-то средства к существованию, но и право на собственную беду. Но ей не привыкать — с одиннадцати лет одна, без родителей.

За полгода до Чернобыля она предсказала Чернобыль. Я видел листки бумаги, испещренные буквами «АС», и четвертая шахта там фигурировала, и буквы «РАД» — радиация. Чей-то голос говорил ей: «А-эс», — а писала она так, как учили в школе: «АС». Сейчас она казнит себя за то, что не догадалась об истинном значении этих знаков, не забила тревогу...

Тому были свидетели, как и тому, что ровно за месяц до путча она выдала нечто вроде предупреждения-предсказания Горбачеву по тайной просьбе его очень высокопоставленного сановника: «...В случае, если старые жрецы взбунтуются и захотят свергнуть верховного жреца, он их опережает своим решением о сложении с себя высшего жреческого сана...»

— Джуна, вы богаты?

— Не считала. Меня никогда деньги не интересовали.

Сказать можно всякое. Но отказаться от миллионов долларов за изобретенного ею биоробота, запатентованного в США, с тем чтобы сохранить приоритет его производства за Россией, — это может только она. Я видел этот патент. Биоробот связан с ЭВМ, которая воспроизводит поле Джуны, — выгодна ли ей заменять себя роботами? Если думать о людях — да.

Или вскочить среди ночи, кинуться на улицу вслед за ушедшим посетителем, показавшимся ей несчастным, обиженным, пропавшим чуть ли не с час, вернуться притихшей, спокойной и не отвечать на вопросы — это я тоже видел. Деньги ли она ему дала? Запросто. Или больше, чем деньги, — надежду, веру? Наверняка.

Голодать пять дней за границей, не имея ни цента, будучи обманутой официантом, а потом заставить его вернуть деньги и порвать их в клочки на виду изумленного ресторана гостиницы, где прожила полмесяца, — это тоже может только она.

(Окончание на 23-й четв.)